

О. Н. Николаенко

Томский государственный университет

**Эсхатологические мотивы петербургско-венецианского текста
Соотнесение Петербурга и Венеции
в сознании русских реципиентов**

Аннотация: Рассматриваются эсхатологические мифы Венеции и Петербурга, их развитие в текстах травелогов, неразрывная связь с креативными мифами в русско-итальянском травелогe. Обреченность городов на гибель объясняется их «эксцентричным» положением. Прослеживаются доминантные моральные мотивы данных текстовых пространств: призрачность, как экспликация мотива смерти, порождающая характерные элементы потустороннего, загробного мира, такие как «могила», «гроб». Рассматривается связь моральных мотивов с семантикой водного первоэлемента. Природная стихия, многочисленные наводнения стали основаниями для развития данной разновидности эсхатологического мифа. Делается попытка соотнесения Петербурга и Венеции в сознании русских реципиентов и присвоение последней посредством внутренней рефлексии путешественника, вплоть до взаимной ассимиляции данных топосов. Выявляются некоторые штампы петербургского и венецианского описаний.

The paper deals with eskhatological myths of St. Petersburg and Venice, their development in the texts of travelogues and their inseparable connection with creative myths in the Russian-Italian travelogue. The predestination of these cities can be explained by their 'eccentric' location, which is confirmed by the dominant macabre textual motives of delusiveness and explicit death appeal generating distinctive elements of the afterworld such as «grave», «coffin», etc. Analysis is made of the connection of the macabre motives with the semantics of the water primary element. The natural elements, such as numerous floods have become the reasons for the development of this variety of eskhatological myth. An attempt is made to correlate St. Petersburg and Venice in the consciousness of the Russian recipients and to appropriate the latter by means of the traveller's internal reflection, up to the mutual assimilation of the toposes. In question. Some clichés of the St. Petersburg and Venetian descriptions have been revealed.

Ключевые слова: путешествие, травелог, эсхатологический миф, Петербург, Венеция, путевые заметки.

Travel, travelogue, eskhatological myth, St. Petersburg, Venice, travel notes.

УДК 891.71.09

Контактная информация: Томск, пр. Ленина, 34. ТГУ, кафедра русской и зарубежной литературы. E-mail: pecegne@gmail.com

Эсхатологический миф Петербурга и Венеции заключается в растворении космоса в хаосе. Таким образом, организованное человеком, упорядоченное пространство поглощается одним из первоэлементов природы, водной стихией. Обреченность этих городов на гибель изначально предполагается его эксцентричным

положением: города, расположенные в пространственном и метафизическом смысле на краю света.

Исходя из определения понятия эсхатологического мифа, он содержит пророчество о будущем конце света. Под эсхатологией, при этом, подразумевается все противоположное космогонии и связанное с разрушительным действием сил, несущих гибель, независимо от темпоральной принадлежности данных событий, их глобального или локального масштаба.

Эсхатологический миф Петербурга неразрывно связан с креативным. Представление о Петербурге как городе без истории, возникшем как бы «вдруг» по волевого, рациональному замыслу и вопреки национальной общественной и культурной традиции порождает предположение о вероятности столь же внезапной, как и рождение, смерти города [Акиндинова и др., 2004, с. 27]. Смерть представлена как проявление стихийного хаоса, который поглотит город за ритуальные грехи, противодействие природе, искусственность и неестественность жизни. Петербургский эсхатологический миф, как и венецианский, связаны с идеей потопа. Вода в петербургско-венецианской космогонии образует сферу архаического первоначала, из которого происходит жизнь и в которое она вновь возвращается. Поэтому символика воды включает в себя как возрождение, так и смерть [Ханзен-Леве, 2003, с. 695]. Природная стихия, многочисленные наводнения стали основаниями для развития данной разновидности эсхатологического мифа. В этом смысле особый интерес представляет «Описание наводнения, бывшего в Санкт-Петербурге 7 ноября 1824 года» С. Аллера, где страшные картины петербургского наводнения сравниваются с венецианскими впечатлениями:

По 28 Ноября 1802 года в Венеции дождь продолжался безпрерывно 36 дней. <...> ...Твердая земля уподоблялась большому озеру. <...> Ежедневно свирепствовали бури с моря в разных направлениях ветра, при сопровождении ужасной грозы, как будто среди лета... [Аллер, 1826, с. 123].

Еще 6 числа ноября, особенно к вечеру, сильный югозападный ветер, воздымавший ужасными порывами своими воду в реках и каналах Петербурга до самых берегов, казалось, предвещал Столице грозное бедствие. <...> 7 числа рано по утру ветер начал сильно увеличиваться, а в 10 часу превратился в ужасную бурю, которая не токмо срывала крыши с домов и вырывала большие деревья с корнями, но даже обратила естественное течение самой Невы в противную сторону... [Там же, с. 1–2].

Схожесть данных описаний обусловлена наличием одного и того же эсхатологического мифа в сознании реципиентов относительно данных топосов. Нередко типично венецианские мотивы читаются и в петербургском тексте русской литературы. Так, например, очень распространенный в венецианском текстовом пространстве мотив нереальности существования города в посястороннем мире активно используется и авторами петербургского текста:

(О Венеции) Небесное зарево чудно отразилось в бездыханной лагуне. Я спрашивал себя – на яву ли плыву к этому городу–призраку, висящему в ослепительной атмосфере, между морем и небом... [Яковлев, 1855, с. 47].

(О Петербурге) Только в Петербурге с его ненастоящими людьми и ненастоящей жизнью я мог так запутаться раньше. <...> На этой земле я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь навсегда заковать все темные призраки петербургской жизни... [Иванов, 1974, с. 809].

Призрачность, как экспликация мотива смерти, порождает характерные элементы потустороннего, загробного мира, такие как «могила», «гроб», постоянно используемые в изображении венецианского топоса:

...Безчисленное множество гондол, которые похожи на плавающие гробы, еще более придают гнусности сему виду... [Кравен, 1795, с. 142].

Показательно, что и сам по себе гроб, как и похороны, могила и кладбище, равно обязанные своим происхождением и природе, и культуре [Топоров, 2003, с. 113], постоянно появляются в призрачном Петербурге:

[Санкт-Петербург] призрачен, страшен и обречен. <...> Он есть и словно его нет. <...> Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек [Мережковский, 1991, с. 115–117].

Популярность смертных мотивов в петербургском городском тексте следует искать в его истории. Согласно исследованиям Н. В. Топорова, Петербург по смертности в его «первые два века не знал себе соперников ни в России, ни за ее, несмотря на то, что подлинная смертность населения города была сильно затуманена тем фактом, что масса приезжих, живших в Петербурге, умирать уезжала к себе на родину, будучи уже, как правило, неизлечимо больными людьми. «Ротация» населения этого Некрополя, собственно, заполнение одной и той же кладбищенской площади, происходила быстрее, чем, например, в Москве, чему способствовали почвенно-климатические условия в Петербурге (процесс разложения, гниения и полного распада совершался в более короткий период времени, и «оборачиваемость» в использовании одного могило-места была тоже существенно большей)» [Топоров, 2003, с. 30–31].

Мотив смерти чрезвычайно распространен в текстах травелогов как зарубежных, так и русских путешественников. Но неизменным остаются причины его появления: столь высокая степень вымираемости в Петербурге обуславливается, прежде всего, климатически:

Вымираемость в Петербурге была всегда сильнее рождаемости, что вовсе неудивительно в городе, где сносных всего три, так называемых, летних месяца, а остальные так перемешиваются между собою, что трудно отличить май от сентября, апрель от октября, март от ноября [Зотов, 1890, с. 328].

Как отмечает Н. В. Топоров, «роль климатических условий в изживании жизни человека в Петербурге была очень значительной: многие приезжавшие в город так и не смогли адаптироваться к погодно-климатическим условиям и погибали от простудных заболеваний, воспаления легких, чахотки, а то и от обморожения [Топоров, 2003, с. 31], о чем свидетельствуют петербургские описания:

Климат в высшей степени нездоровый, к этому присоединяется возможность наводнения, против которого нет никаких средств защиты... [Гагерн, 1886, с. 33].

Что касается венецианских описаний, то смертность здесь имеет несколько иное значение. Здесь важным является историческая трансформация венецианского мифа. Если до XVIII в. Венеция представлялась «совершенным обществом, реализованной утопией, сравнимой с современными утопиями, придуманными в спекулятивных философиях континентальных обществ, сопоставимых с Венецией, которая, однако, превосходила их в практическом выражении. Венеция... была совершенна, потому что первые поселенцы с лагун усвоили рациональную структуру созидания и инкорпорировали эти правила в свои институты» [Cosgrove, 1982, р. 147], что поддерживалось креативным мифом об избранности города надличностными силами посредством Св. Марка, где была реализована

победа разума над стихией, то после падения Венецианской республики, что совпало с расцветом романтической чувствительности, и обнаружением французскими инженерами того факта, что Венеция уходит под воду, венецианский миф трансформировался в пользу идеи о городе, пришедшем в упадок [Турома, 2009], что спровоцировало появление моральных эсхатологических мотивов в рецепции русских путешественников. Таким образом, к концу XIX в. связь Венеции со смертью стала одним из репрезентативных образов венецианского текстового пространства, а умирание Венеции [Топоров, 1990, с. 71] одним из основных свойств города:

Умирание или как бы тонкое таяние жизни здесь разлито во всем. Лица рабочих на стеклянных фабриках бледны, как воск, и кажутся еще бледнее от черных платков... [Муратов, 1994, с. 54].

Связь Венеции и Петербурга со смертью обуславливается «предчувствием собственной обреченности, заката, «катакличности» – смерти» [Топоров, 1990, с. 70]. В конце XIX в. в русско-итальянском травелоге венецианская моральность усиливается и за счет типично петербургских описаний, эти города начинают ассимилироваться в сознании русских реципиентов:

Я в пятый раз в Венеции, в 4-й весною или в конце марта, или в начале апреля и всегда одно и то же: скверная погода; по прежде были дожди, а теперь холодно... [Суворин, 1923, с. 33].

Давно уже все статистики и климатологи подтвердили, что в Петербурге собственно два времени года: сероснежная зима и зеленодождливая зима; первая бывает по временам белоснежной и очень холодной, вторая – сухозеленой и не очень холодной, – вот и вся разница между ними. Первая устанавливается обыкновенно в январе – и длится месяца четыре, вторая – в мае тоже на четыре месяца; остальные четыре месяца в году представляют собою смесь этих двух времен, в которой количество снежных осадков равняется количеству дождевых. С этой несложной метеорологией можно было бы уже давно свыкнуться, а между тем житель столицы продолжает по привычке роптать то на дождь, то на снег, то на бездождье, то на ветер, одинаково дующий во все дни, месяцы и годы... [Зотов, 1890, с. 328].

Иногда ассимиляция настолько сильна, что происходит подмена одного города другим. Русский путешественник, отправляясь в Венецию, видит ее в образе Петербурга, несмотря на то, что это совершенно расходится с реальными фактами:

Был июль. Солнце немилосердно накаляло камни мостовой и зданий, – пишет А. П. Остроумова-Лебедева. – Небо каждый день было одно и то же – ярко-синего цвета. Ни облачка, ни туманностей. Я мечтала о прохладе, о сереньких днях, о блестящем перламутре Петербурге. Представляла себе Венецию на фоне нашей северной природы, когда все оваяно ласковой, нежной дымкой, контуры смягчены и не режут глаза. И вот я изобразила Венецию не такой, какой она была в те дни, а такой, какой мне хотелось ее видеть – серебристо-серой. И, должно быть, сделала я это довольно убедительно, потому что год спустя Бенуа мне писал из Венеции, как он завидует мне – я видела перламутровую Венецию, а ему приходилось принимать ее яркой, освещенной беспощадным солнцем. Он поверил моим изображениям Венеции... [Остроумова-Лебедева, 1974, с. 441].

Любопытно, что Венеция ни в одной литературной традиции не описывается через Петербург. Исключение составляют русские путешественники, для которых

наличие особого русско-итальянского кода, связанного с общностью, прежде всего, эсхатологических мотивов в данных текстовых пространствах является очевидным и даже желаемым в случае его отсутствия. Таким образом, мы можем наблюдать как в сознании русского реципиента из петербургского топоса внезапно проявляется венецианский:

Представьте себе большой петербургский каменный дом, представьте небольшой в Петербурге дворец с семью только окнами по линии. Какой невообразимый план! Но вот когда поэт кончил о жаворонке, получилась лучшая песня за всю его жизнь. Когда дворец дождей был кончен, со всех концов мира потянулись и до сих пор тянутся на него смотреть... [Розанов, 1909, с. 227].

Как отмечает Н. В. Топоров в статье «Италия в Петербурге», существует множество примеров соотнесения Петербурга с Венецией, что «дает основания говорить о том, что это соотнесение-сопоставление стало в начале XX в. своего рода «культурным» клише, определенным ориентиром в историософском пространстве «Петербургского текста», по которому пытались понять судьбу Петербурга. <...> Венеция напоминает чудный град Петра и своим сочетанием воды и суши, и соединением роскоши и нищеты, замеченным применительно к Петербургу рубежа 40 – 50-х гг. и Достоевским, и «физиологическим очерком» [Топоров, 1990, с. 66].

Русскими путешественниками отмечена последовательность оснований для сопоставления Петербурга и Венеции. Так, вслед за Н. В. Топоровым, мы можем выявить некоторые общие аспекты мифологизированной генеалогии и эсхатологии, так как возникновение и гибель обоих городов связаны с водной стихией. Схожая ландшафтность, включающая в себя и «природное» (характер невольской дельты и венецианской лагуны) и «культурное», архитектурный антураж, особые природные условия, доминирование водного первоэлемента над другими не могли остаться незамеченными даже самым неопытным путешественником. А «космичность» данных топосов [Топоров, 1990, с. 68], их открытость стихиям, служит источником для появления характерных для данных текстовых пространств мотивов призрачности, иллюзорности существования.

Литература

Акиндинова Т. А., Голик Н. В., Тишунина Н. В. . Феномен Петербурга как тематизация исторического самоопределения России // Петербург как социокультурная целостность. СПб., 2004.

Аллер С. Описание наводнения, бывшего в Санктпетербурге 7 ноября 1824 года. СПб., 1826.

[Гагерн Ф.] Дневник путешествия по России в 1839 г. // Русская старина 1886. Т. 51, № 7.

Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. Т. 39, № 1. С. 328.

Иванов В. И. Собр. соч. II. Брюссель, 1974.

Кравен Э. Путешествие в Крым и в Константинополь в 1786 году... М., 1795.

Мережковский Д. Зимние радуги // Большая Россия Л., 1991 (1910).

Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994.

Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки: В 3 т. М., 1974. Т. 1.

Розанов В. В. Итальянские впечатления. СПб., 1909.

Суворин А. С. Дневник А. С. Суворина. М.; Пг., 1923.

Топоров Н. В. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.

Топоров Н. В. Италия в Петербурге // Италия и славянский мир. Советско-итальянский симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto. М., 1990.

Турома С. Семиотика городского пространства Ю. М. Лотмана: опыт переосмысления // НЛЮ. 2009. № 98. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/tu8.html> (дата обращения 21.11.2013).

Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. СПб., 2003.

Яковлев В. Д. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. СПб., 1855.

Cosgrove Dennis. The Myth and the Stones of Venice: An Historical Geography of a Symbolic Landscape // Journal of Historical Geography. 1982. Vol. 8, № 2.